

Геннадий Фиш:

## Через годы...

Прошло много лет с тех пор, как я впервые добрался до Ухты. И вот я снова в этих местах.

У высоты со смешным названием «Кискис» часа два лежали мы, распластавшись, прикинув к сырой земле, накрытые огнем минометов противника. Это было вблизи от сосны Ленрота.

Фронт Великой Отечественной войны надвое разрезал район Калевалы.

В здешних лесах я встретил старых друзей и обрел новых. Судьба и высшее начальство забросили сюда давнего знакомца, бывшего разведчика-лыжника отряда Антикаинена, командира одной из героических интербригад республиканской Испании, генерал-майора Акселя Антилу.

Неистошимый на выдумки, задиристы весельчак, безоглядно смелый, словоохотливый, но беспощадно коверкающий русскую речь (за двадцать лет он так и не освоил ее по-настоящему).

— Я должен быть вперед! Понимаешь! Моя характер такая! — говорил он о своей должности — заместителя командующего 26-й армией по тылу.

Левее 26-й армии — с левого фланга — начинал войну прославившийся на весь фронт своим упорством полк, которым командовал майор Валли — один из главных организаторов «Ляскикапины».<sup>1</sup>

С ним впервые я встретился тут, на фронте, в его наскоро разбитой палатке у Порос-озера. (Вскоре он стал полковником на самом северном участке нашего фронта у скал Баренцева моря.)

В тылах неприятеля, противостоящего 26-й армии, действовало два партизанских отряда.

Одним из них командовал бывший председатель колхоза Перттунен, внук того знаменитого слепца-рунопевца, со слов которого Ленрот записал лучшие руны «Калевалы». Другой отряд возглавлял майор Журих, бывший до этого командиром Ухтинского погранотряда, того самого, который приютил меня десять лет назад.

Несколько дней провел я на партизанской базе этих отрядов в летнем, источавшем запахи смолы и земляники мачтовом бору. Ночевал в землянках на берегу озера, в стороне от дороги.

Край этот не только бездорожный, но и крайне малолюдный. Одно селение от другого почти что за сотню километров. К тому же и деревни

---

<sup>1</sup>«Ляскикапина» — восстание финских лесорубов 1921–1922 гг., направленное в защиту молодой Советской республики.

совсем опустели — население успело уйти от оккупации и угнать скот. Так что к обычной партизанской страде прибавлялся еще и выучный труд. Все на себе — и пища на месяц, и снаряжение, и патроны. Охотиться нельзя — не ровен час, по выстрелу обнаружат отряд.

Здесь-то, на берегу озера, провожая через несколько дней в поход партизанский отряд, я впервые задумал повесть о тех, кто двадцать лет назад пришел сюда из Суоми, и об их детях, ставших партизанами.

А после того как я побывал на партизанской базе в Сегеже, в отрядах, действовавших значительно южнее, когда сводная партизанская бригада, выдержав не один кровопролитный бой, изголодавшаяся, оборванная, неся своих раненых, возвращалась на базу после многонедельного героического рейда, хорошо зная многих участников этого похода и услышав их рассказы о новых боевых делах, я и написал книгу о карельских партизанах.

Написанная в Беломорске, во фронтовых условиях, в конце сорок третьего года и впервые опубликованная в начале сорок четвертого, она несет на своих страницах следы военного времени, когда о многом еще нельзя было написать открыто, когда прежде всего хотелось показать подвиг людей, даже в поражениях творивших победу, и тем самым приблизить ее.

Впоследствии мне не хотелось исправлять повесть, углублять коллизии, тем более что многие из ее героев живы и, один возмужав, а другие, увы, постарев, активно действуют и ныне.

Пусть уж останутся неприглаженными следы тех незабываемых дней, когда она писалась, решил я. Эта повесть в первых двух изданиях (Каргосиздат, 1944 г., и «Молодая гвардия», 1944 г.) называлась «День рождения». И лишь в последующих получил нынешнее заглавие — «На земле Калевалы».

Зимой шестьдесят четвертого года, в самом северном городе Швеции — заполярной Кируне побывал я в гостях у седого высокого, грузноватого уже плотника Оскара Маркстеда... Лицо его сразу же показалось мне знакомым.

В тридцать первом году, когда волны мирового экономического кризиса дохлестнули и до берегов Швеции, теснимый безработицей, особенно тяжелой здесь, на севере, он вместе с группой шведских рабочих подался в Советский Союз.

Мне переводят обстоятельный рассказ Маркстеда.

Во время белого террора в Суоми многие финны вынуждены были бежать оттуда.

— И конечно, раньше всего они попадали к нам, в Норботтен. Сам понимаешь, приходили без денег, без вещей, что было — все на себе. Мы их здесь приветили, помогли, чем бог послал, а он, как тебе известно, в те годы о нас мало заботился. Устроили им переезд Финмаркен в Архангельск.

А потом, когда нам самим здесь от безработицы уж невмоготу стало, спасались с ними. И они, в свою очередь, помогал нам переехать в Советскую Карелию. Там работы было невпроворот.

Шведы-эмигранты возводили Жилые дома для рабочих бумажного комбината в Кондопоге. Мне привелось в одном из них прожить несколько недель у тогдашнего директора Кондопожского бумкомбината Ханнеса Ярвимаки — участника лыжного рейда Антикайнена, курсанта Интервоеншкола. В дни Отечественной войны в другом доме, построенном шведами, временно размещалась редакция нашей армейской газеты «Во славу Родины».

— Строили мы на совесть. Такие дома могут простоять век, другой!

— К несчастью, они все были сожжены, — говорю я, — в октябре сорок первого года.

Не забыть мне, как, стоя на ступенях Дома культуры бумажников в сосновой роще на высоком берегу Онежского озера, вглядываясь в ту сторону, где находился оставленный нами несколько дней назад Петрозаводск, я видел зарево над пылавшей столицей Карелии.

Та же участь через несколько дней постигла и Кондопогу.

...Весной тридцать второго года Оскар Маркстед с женой, сыном и дочерью переехали на север, в район Калевалы, в Ухту...

— Вот они, все мои здесь, за столом! — показывает старый плотник.

Сын его, Торд, ныне инженер на заводе насосов в Линчепинге. Вместе с женой он приехал в отпуск к родителям. Торд отлично помнит свое детство в Ухте. Дочка, хлопочущая сейчас на кухоньке за остекленной дверью, была тогда совсем малюткой, и мало что из карельской жизни сохранилось в ее памяти. Жена же Оскара и приехавшая в гости невестка за весь вечер не проронили ни словечка. Но если сквозь молчание пожилой женщины, в ее улыбке, во взгляде светилось дружелюбие, то внимательно-настороженный взгляд молодой — отчужден, едва ли не враждебен. То ли она ревнует мужа к тем годам его жизни, свидетельницей которых не была, то ли ей, аполитичной обывательнице, не по душе, что старик свекор еще с 1926 года коммунист и так приветлив к гостю из Москвы.

— В Ухте моя бригада строила районную больницу, детский дом, дом для престарелых, — вспоминает Оскар, — радиоузел...

— Я как-то выступал в этом радиоузле, — говорю я. И лицо старого плотника расплывается в улыбке, словно бы я сообщил ему что-то приятное.

— Мы еще строили дом леспромхоза.

Ухтинский леспромхоз! Пахнущая свежей смолой сосновая стружка... Стройка вблизи от сосны Ленрота. Так вот почему лицо Маркстеда напоминало мне какого-то давно виденного человека.

— Значит, мы с вами старые знакомые! Правда, тридцать два года прошло со дня нашего знакомства, понятно, что друг друга не узнали!

— Выходит, ты тоже знал Матеро? — оживляется Оскар, сразу переходя на «ТЫ».

— Еще бы! Специально для того и приехал в Ухту, чтобы повидаться, поговорить с ним....

Из Советской Карелии Маркстед приехал в Кируну, где после кризиса стала налаживаться жизнь, а вскоре Оскара избрали организатором профессионального союза плотников и чернорабочих. Город горняков Кируна вырос на его глазах и под его руками. Сначала в профсоюз входило около сотни рабочих, а когда недавно Оскар ушел на пенсию, союз объединял уже свыше тысячи человек. Много лет он был казначеем союза. На этот пост в шведских общественных организациях выбирается самый авторитетный человек, и слово его весит никак не меньше, если не больше, чем слово председателя...

Маркстед рассказывает о партийных делах, расспрашивает о войне, о Карелии. Мы размышляем о том, какими путями дальше пойдет история.

Застольная беседа быстро обегает весь мир, перелетает в космос и снова возвращается в Кируну, в карельские леса, в Ухту, к людям «Ляскикапины».

Много тетрадей исписал я тридцать пять лет назад в Ухте. Заносил в них рассказы лесорубов, возчиков, сплавщиков — участников восстания, собирал материалы для романа «Мы вернемся, Суоми!».

Вся тяжкая жизнь этак вставала в их рассказах. Блуждание по узким, извилистым лесным дорогам в поисках работы, с топором и лучковой пилой за плечами. Жизнь в тесных, полутемных лесных бараках или землянках, освещаемых тусклым светом коптилок. Она снова встала передо мной вечером того дня, зимою пятьдесят восьмого года, в Суоми, когда, проезжая по тем местам, где проходило восстание «Ляскикапина», в селе Иютсиярви у Полярного круга, я разыскал одного из участников восстания — старика лесоруба Пекки Эммеля. Он сидел в своей большой бревенчатой избе и о чем-то беседовал с двумя стариками — соседями. Свет керосиновой лампы под потолком не разгонял тьмы, заполнявшей пустую горницу с бревенчатыми стенами. Когда мы заявили к Эммелю, старик собирался в баню, он предложил нам разделить компанию.

Узнав, что я приехал из Советской России и меня интересуют подробности «Ляскикапины», Пекки Эммель взволновался.

Воодушевленный воспоминаниями, словно присягая на верность великой идее пролетарского интернационализма, он с гордостью и волнением рассказал о славных днях зимы двадцать второго года.

Тогда, добравшись с товарищами до Ухты, он затем на санях поехал обратно, чтобы прихватить жену и ребенка. Когда же со всей семьей и со скарбом тронулся в Карелию, граница была уже закрыта и ему пришлось вернуться в Йоутсиярви. И вот сейчас, посапывая носогрежкой, побряхтывая, старик словно оправдывался, что живет здесь, а не в Ухте. Но разве вспомнить все сразу в короткой беседе? И Пекки Эммель обещал мне прислать вдогонку подробное описание тех великих дней, ответ которых лег на всю его дальнейшую судьбу. Свое обещание старый лесоруб выполнил.

Многие односельчане называют Эммеля упрямцем. Когда все они на пепелище деревни, которую гитлеровцы сожгли, уходя отсюда, — осенью сорок четвертого года, — возводили себе дома в новом стиле, он срубил традиционную бревенчатую избу. Пусть будет так, как раньше.

В том, что Пекки Эммель срубил себе «по-старому» бревенчатую избу и не захотел проводить в избу электричество, я видел уже не только простое упрямство старого человека. Нет, он, вольнолюбивый, по-своему чтит те времена, когда при всех трудностях жизни лесорубов, одетый куда хуже, чем сейчас, все же чувствовал себя вольготнее.

Пекки Эммель словно не хотел замечать в лесу ни трактора, ни электричества, ни всех тех изменений, которые принесло время, и думал, что этим останется верен своему старому боевому знамени. Но окружающим он стал казаться лишь старым упрямцем, чудачком.

Нечто подобное увидел на скалистом берегу Финского залива под Хельсинки, побывав в доме отдыха «Общества бывших красногвардейцев». Эти старики упражнялись с таким рвением в стрельбе по мишеням, словно бы они метили в голову белогвардейцам. С каким упоением пели они за скромным столом песни боевого восемнадцатого года! И видно было, что любой из них, позови его, отдаст свою жизнь на баррикадах. Но вот на выборы в парламент эти достойные всяческого уважения люди даже по призыву ходить не желали, по-прежнему считая парламентские дебаты одной лишь говорильней.

— Хватит нам и одного депутата, чтобы народ знал нашу точку зрения! — говорил мне седой, костистый старик, бывший, как и большинство собравшихся в тот день, смертником шюцкоровских лагерей, перезаряжая духовое ружье и не скрывая своего торжества оттого, что в стрельбе обставил меня по очкам. — Депутатское кресло и жалованье только развращают рабочего человека! — убеждал он.

— Словом не победишь, только силой оружия!

Когда вечером, перед сном, мы делились впечатлениями прожитого дня с товарищем, финским коммунистом, с которым вместе путешествовали по стране, вспоминая и Пекки Эммеля, и встречу в Доме отдыха бывших красногвардейцев, он, улыбаясь, сказал.

— И такие бывают у нас догматики. При всей своей преданности, они тормозят дело. Тот, кто не видит или не понимает, что если усложнились формы эксплуатации, то должны изменяться методы и приемы борьбы, тот уже не в авангарде революции, а в арьергарде ее...

...И теперь, когда я перелистываю эту книгу, готовя к новому изданию, мысль о том, что, несмотря на видимое мне сейчас ее несовершенство, она все же, выдержав испытание бурных тридцать пяти лет, по-прежнему мне новые силы в моем труде.

(Геннадий Фиш: *Избранные произведения в двух томах, том 2*, Москва 1976)